

Любые подобные модификации не могут не отражаться на эквивалентных отношениях между исходным и конечным текстами. Ведь понятие эквивалентности всегда связано с воспроизведением коммуникативного эффекта исходного текста, который детерминируется первичной коммуникативной ситуацией и ее компонентами (коммуникативной установкой первичного отправителя, установкой на первичную аудиторию). Что же касается понятия адекватности, то оно, как отмечалось выше, ориентировано на соответствие перевода, в частности, тем модифицирующим его результат факторам, которые привносит вторичная коммуникативная ситуация (установка на другого адресата, на другую культуру, в частности на иную норму перевода и литературную традицию, специфическая коммуникативная цель перевода и др.). Отсюда следует, что адекватность — относительное понятие. Перевод, адекватный с позиций одной переводческой школы, может быть неадекватным с позиций другой.

Подводя итоги сказанному выше о соотношении категорий "эквивалентность" и "адекватность", попытаемся резюмировать сказанное в табл. 2.

**Таблиц» 2**

Категория	Характер категорий	Объект категорий	Содержание категорий
Эквивалентность Адекватность	Нормативно-оценочный	Перевод как результат Перевод как процесс	Соотношение текстов Соответствие коммуникативной ситуации

### **ПЕРЕВОДИМОСТЬ**

Понятия "переводимость" и "непереводимость" трактуются в литературе по-разному. Иногда речь идет о принципиальной возможности перевода с одного языка на другой. В других случаях имеется в виду возможность нахождения эквивалента языковой единицы исходного языка в языке перевода. И то, и другое понимание переводимости в конечном счете обуславливается трактовкой таких ключевых понятий переводоведения, как "эквивалентность", "адекватность", "сущность перевода" и др. Как будет показано ниже, многое в решении проблемы переводимости зависит от того, как трактуется соотношение языковых и внеязыковых аспектов перевода, какие требования предъявляются к переводу и какие нормативные критерии используются при его оценке.

Вопрос о возможности перевода является в своей основе вопросом философским, методологическим, в значительной мере производным от трактовки проблемы соотношения языка и мышления.

Известна резко отрицательная позиция по вопросу о переводимости В. фон Гумбольдта, который в письме А. Шлегелю от 23 июля 1796 г. утверждал: "Всякий перевод представляется мне безусловно попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый перевод-

чик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь либо подлинника за счет вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только трудно достижимо, но и просто невозможно" [цит. по: Федоров, 1983, 31]. Подобный взгляд на переводимость самым непосредственным образом связан с одним из важнейших постулатов Гумбольдта о языке как форме выражения народного духа, об индивидуальном своеобразии языков, определяемом духовным своеобразием народа, о несводимости языков друг к другу.

Идеи Гумбольдта получают дальнейшее развитие в неогумбольдтианском направлении, и в частности в трудах Л. Вейсгербера, в которых утверждается детерминирующая роль языка, образующего "промежуточный мир" (Zwischenwelt), сквозь который человек воспринимает действительность. Различное членение языкового содержания в специфичных для отдельных языков семантических полях свидетельствует, согласно Вейсгерберу, о том, что каждый родной язык содержит "обязательный для данного языкового коллектива промежуточный мир", формирующий его картину мира [Weisgerber, 1971].

По мнению В. Коллера, из этой концепции следует, что непереводаемость обусловлена самой природой языка. В самом деле, если исходить из того, что каждый конкретный язык содержит свою собственную картину мира, детерминирующую восприятие внеязыковой действительности его носителями, то непереводаемость приобретает статус общезыковедческой аксиомы. Возникает неразрешимое противоречие, обусловленное тем, что перевод по своей сути транспонирует языковое содержание одного родного языка в языковое содержание другого, в то время как каждый из этих языков конституирует собственный духовный промежуточный мир, благодаря которому реальный мир человека становится доступным для понимания и коммуникации. И хотя Л. Вейсгербер не дает четкого ответа на вопрос о том, насколько решающим является влияние языка на мышление, ясно, что в его концепции язык "присваивает себе" функции, которые в других гносеологических теориях отводятся мышлению [Koller, 1983, 141 — 142].

Оценивая неогумбольдтианскую трактовку соотношения языка и мышления, П.В. Чесноков отмечает, что философия неогумбольдтианства есть субъективно-идеалистическая философия позитивизма, которая основывается на метафизическом преувеличении активности языка в процессе познания [Чесноков, 1977, 25]. Еще более ярко выраженный характер тенденция к отождествлению языка и мышления приобретает у Б. Уорфа, основоположника теории лингвистической относительности.

Выводы, к которым приходят сторонники теории лингвистической относительности о наличии особого логического строя, отличного от логики индоевропейских народов, в мышлении носителей языков иного типа, являются результатом "неразличения логических форм (логического строя мысли) и семантических форм (семантического строя) смыслового содержания предложений и иных языковых построе-

ний. Логический строй мысли один для всех людей, ибо он вытекает из природы человеческого познания, обусловлен потребностями познавательной деятельности человека и в конечном счете потребностями практики. Поэтому никакие особенности строя языков не могут изменить его" [там же, 56].

Именно эта общность логического строя мысли, общечеловеческий характер логических форм, а также наличие семантических универсалий, характеризующих язык вообще, составляют ту основу, на которой возникает принципиальная возможность переводимости.

Более того, семантические расхождения, которые действительно существуют между языками, не создают непреодолимого барьера для межъязыковой коммуникации, и в частности для перевода. П.В. Чесноков совершенно прав, отмечая, что выразительные возможности системы любого языка весьма ограничены, но это не является препятствием для познавательной деятельности людей, потому что познание, стимулируемое задачами, которые ставит перед человеком практика, осуществляется не на базе закрепленной системы языка, а на базе бесконечно многообразной, гибкой и подвижной речи, использующей средства языковой системы и обладающей безграничными возможностями комбинирования ее единиц. Отсюда делается вывод, имеющий самое непосредственное отношение к проблеме переводимости: "Чем больше укрепляются связи между народами, чем больше нивелируются различия в их практической деятельности и условиях жизни, тем большее единство приобретают их познавательные интересы, тем большую роль начинает играть процесс преодоления семантических расхождений в речи" [там же, 47—50].

К этому следует добавить и то, что речь обладает еще одним мощным средством нейтрализации семантических расхождений, а именно языковым и ситуативным контекстом. Тот факт, что роль контекста часто не принимается во внимание в неогумбольдтианских теориях, отмечает, в частности, В.Н. Ярцева, полемизируя с Б. Уорфом [Ярцева, 1968, 44].

Факты, на которые ссылаются неогумбольдтианцы, как правило, касаются расхождений в репертуаре и содержании грамматических категорий, в структуре семантических полей и других различий на уровне языковой системы. Однако перевод, как неоднократно подчеркивалось выше, представляет собой одну из разновидностей речевой коммуникации, в ходе которой анализируются и порождаются речевые произведения — тексты. О том, каким образом семантические расхождения между языками преодолеваются в процессе этой речевой деятельности, будет подробно рассказано в гл. IV, посвященной семантическим аспектам перевода. В этом разделе мы укажем лишь на принципиальную возможность нейтрализации этих различий в тексте. Так, например, отсутствие в языке перевода соответствующей грамматической формы порой компенсируется путем введения в текст передающей значение этой формы лексической единицы: — ...Это со мной бывает, точно ребенок (Достоевский) — I am like that sometimes — just like a child. Здесь видовое значение многократности (*бывает*) передается лексически с помощью наречия *sometimes*. Таким

образом, отсутствие в английском языке грамматической оппозиции сов./несов. вида не служит препятствием для выражения соответствующих значений.

В других случаях семантическое пространство, охватываемое единой грамматической формой в исходном языке (например, формой прош. времени в русском), оказывается разделенным между разными формами языка перевода (например, англ. Fast Indefinite и Present Perfect): Довольно людей кормили сладостями, у них от этого испортился желудок (Лермонтов) — People have been fed enough sweetmeats to upset their stomachs. Здесь контекст, привносящий в высказывание значение результативности, актуальности действия в прошлом для настоящего, позволяет приравнивать форму прош. времени (*кормили*) к Present Perfect (have been fed).

Контекст (порой даже микроконтекст словосочетания) позволяет преодолевать семантические расхождения, вызванные несовпадением структуры семантических полей. Так, например, известно, что в русском и английском языках в семантических полях цветообозначения англ. blue соответствует рус. *синий* и *голубой*. Вместе с тем в переводе эта проблема сравнительно легко разрешается на основе минимального контекста: blue eyes 'голубые глаза', blue sea 'синее море', blue sky 'голубое небо', blue cornflower 'голубой василек'.

Постулату непереводимости противостоит постулат переводимости, который в цитированной выше работе В. Коллера сформулирован в виде следующей аксиомы: "Если в каждом языке все то, что подразумевается, может быть выражено, то в принципе, по-видимому, все то, что выражено на одном языке, можно перевести на другой" [Koller, 1983, 152]. Принципиальная возможность перевода убедительно подтверждается практикой, и в частности неоспоримыми достижениями переводчиков в развитии культурных связей между народами.

Вместе с тем абсолютизация принципа переводимости едва ли соответствует реальным фактам переводческой деятельности, которая, как отмечалось выше, нередко влечет за собой известные компромиссы и потери, неизбежные в свете тех противоречивых задач, которые приходится решать переводчику. Проблема переводимости должна рассматриваться конкретно, с учетом того, идет ли речь о тексте в целом или о тех либо иных его элементах. Кроме того, необходимо различать, с одной стороны, возможность выполнения требований эквивалентности, а с другой — возможность соответствия критериям адекватности.

Функциональные параметры текста далеко не равнозначны с точки зрения потенциальной возможности их передачи в переводе. Об этом, в частности, пишет О. Каде, считающий, что любые тексты исходного языка могут замещаться текстами языка перевода при сохранении неизменным "рационального информационного содержания". Что же касается передачи других элементов содержания (экспрессивно-эмоциональной нагрузки, художественно-эстетической ценности, прагматической нагрузки, обусловленной языковыми особенностями определенных речевых коллективов, коннотативных компонентов значения),

то вопрос о их передаче требует, по мнению О. Каде, дальнейших исследований [Kade, 1971, 26].

Действительно, референтная (денотативная) функция, которую имеет в виду О. Каде, говоря о передаче "рационального информационного содержания", сравнительно легко поддается передаче на другой текст, особенно в текстах, ориентированных преимущественно на эту функцию. С другой стороны, передача других функциональных параметров текста порой сопряжена со значительными трудностями. Так, в качестве примера ограниченной переводимости нередко приводятся проблемы, возникающие в связи с передачей металингвистической функции. В качестве примера решения этой нелегкой задачи А.В. Федоров приводит воссоздание в русском переводе Н.Г. Яковлевой слов воровского жаргона, комментируемых Бальзаком в IV части романа "Блеск и нищета куртизанок" как слов французского языка: *On invente les billets de banque, le bague les appelle des fafiots garates, du nom de Garat, le caissier qui les signe. Fafiot! n'entendez-vous pas le bruissement du papier de soie? Le billet de mille francs est un fafiot mffle, le billet de cinq cents un fafiot femelle* — "Выдумают ли банковые билеты, каторга назовет их гарачьи шуршики, по имени Гара, кассира, который их подписывал — Шуршики! Разве не слышите вы шелеста шелковистой бумаги? Билет в тысячу франков — шуршень, билет в пятьсот франков — шуршеница".

Здесь неологизм *fafiot* передан с помощью звукоподражательного новообразования от глагола *шуршать* путем чисто русской суффиксации — *шуршики, шуршень, шуршеница*. "При всем остроумии и изобретательности в решении переводческой задачи, — оценивает этот перевод А.В. Федоров, — ощущается все же пусть не очень резкое, но неизбежное противоречие более широкому контексту этой части романа, где речь идет о французских корнях и этимологиях, где, таким образом, элементы французского языка выступают как непосредственный объект и материал рассуждений Бальзака" [Федоров, 1983, 123—124].

Передача металингвистической функции тесно связана с социальной оценкой речи, с противопоставлением ее престижных форм формам субстандартным, диалектным. А.В. Федоров считает действительно непереводимыми те отдельные элементы языка подлинника, которые представляют собой отклонения от общей нормы языка, ощутимые по отношению именно к этому языку, т.е. в основном диалектизмы и те слова социальных жаргонов, которые имеют ярко выраженную местную окраску.

В предисловии к "Приключениям Гекльберри Финна" Марк Твен пишет: *In this book a number of dialects are used, to wit: the Missouri Negro dialect; the extremest form of the backwoods South-Western dialect; the ordinary? "Pike-County" dialect; and four modified varieties of the last. The shadings have not been done in a haphazard fashion, or by guess-work, but painstakingly, and with the trustworthy guidance and support of personal familiarity with these several forms of speech.*

I make this explanation for the reason that without it many readers would suppose that all these characters were trying to talk alike and not succeeding.

Если локальный компонент диалектной речи непереволим, то это в известной мере компенсируется передачей ее социального компонента. Обычно это достигается с помощью просторечия и сниженной разговорной речи. Этот компенсационный прием будет рассмотрен в гл. V, посвященной прагматическим аспектам перевода, в связи с проблемой передачи речевых характеристик персонажей. Здесь же мы отметим, что в таких случаях можно говорить о переводимости не на уровне полной эквивалентности (перевод явно не отвечает требованиям исчерпывающей передачи коммуникативного эффекта исходного текста), а на уровне адекватности (перевод оптимально соответствует требованиям данной коммуникативной ситуации).

Особые трудности возникают в связи с передачей в переводе варваризмов — иноязычных элементов, не получивших прав гражданства в языке-рецепторе. Интересный анализ передачи латинизмов в переводе романа Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" видным советским переводчиком Н. Любимовым дал В.Г. Гак [Гак, 1966]. Один из персонажей романа, лимузинец, говорит на своеобразном языке, в котором латинские лексемы облечены в чисто французскую грамматику (к латинским корням прибавляются французские грамматические окончания и форманты): *libentissime* —• *libentissiment*; *vice versa* —• *vice versement*.

Переводчик, как отмечает В.Г. Гак, проявил огромную изобретательность, чтобы воспроизвести "латинщину" оригинала. Иногда он использует латинские слова в русском грамматическом обличье. Но в русском языке такие образования обычно воспринимаются как ученая иностранщина, а не как специфическая латинизированная лексика (*трансфретируем*, *деамбилируем*, *инкулькируем*). Поэтому Н. Любимов широко использует обратный прием, добавляя латинские форманты к русским корням (*ожидабус*, *такум* и *сякум*, *обдираре*). Решение переводчика соответствовало существующей в русской литературе традиции стилизации под латынь.

Вместе с тем коммуникативный эффект приема, используемого Рабле, и приема, к которому прибегает Н. Любимов, неодинаков. У Рабле лимузинский школяр стремится говорить на лучшем французском языке, подделываясь под речь парижан. При этом он наивно полагает, что его латинизированная речь отвечает нормам столичной речи. В русском же переводе создается впечатление, что школяр стремится говорить на латыни для большей учености, не зная толком этого языка.

В.Г. Гак приходит к выводу о том, что проблема передачи варваризмов связана с такими объективными трудностями, что даже выдающиеся мастера перевода не могут решить ее без некоторых потерь и сдвигов в передаче содержания [Гак, 1966, 38—44].

В данном случае, по-видимому, у рецензента возникают сомнения не только в эквивалентности соответствующих элементов исходного и конечного текстов, но и в адекватности самого способа их передачи.

Выше отмечалось, что контекст, снимающий многозначность и уточняющий смысл языковых единиц, приходит на помощь переводчику. Именно поэтому серьезным препятствием для перевода являются те случаи, когда неоднозначность языкового выражения является, по определению Дж. Кэтфорда, функционально релевантной чертой текста [Catford, 1965, 94—103]. В качестве примера непереводаемого (по крайней мере частично) текста Дж. Кэтфорд приводит следующий отрывок из "Детства" М. Горького:

"— Ты откуда пришла?"

— Сверху, из Нижнего, да не пришла, по воде-то не ходят".

Передача металингвистической функции этого диалога между Алешей Пешковым и его бабушкой сопряжена с рядом неразрешимых трудностей. Маленькому Алеше кажется парадоксальным сочетание *сверху, из Нижнего*, ему неясно, как можно приехать *сверху*, так как верх ассоциируется у него с верхним этажом дома, и тем более непонятно, почему спускаться *сверху* нужно по воде. Сама возможность такой неоднозначной интерпретации заложена в семантической структуре русских языковых единиц: *верх* может быть и верхним этажом дома, и верхним течением реки, *нижний* может быть редуцированным наименованием нижнего этажа и города — Нижнего Новгорода. Наконец, *прийти* в русском языке включает дифференциальную сему "пешком", отсутствующую в глаголе *приехать*, тогда как в английском языке значения этих русских глаголов охватываются одним глаголом.

Причиной частичной непереводаемости этого отрывка является, таким образом, невыполнимость задачи, которую ставит перед собой переводчик: транспонировать в язык перевода языковые формы исходного языка вместе со специфичной для них семантической структурой. Не достигает этой цели перевод Дж. Кэтфорда, выполненный на семантическом уровне: Where have you come from? From upriver/ upstairs, from Nijni/lower, and I didn't come on foot. You don't walk on water.

Неудовлетворительна, по собственному признанию Кэтфорда, и предпринятая им попытка более адекватного перевода: Where have you walked in from? I've just come down — from Lower. And I didn't walk. You don't walk on water. Здесь в отличие от первого варианта используется глагол *walk*, который, подобно русскому *прийти*, содержит сему "пешком". Но *walked in* в данном случае нарушает стилистическую норму (out of register). *Lower* непонятно английскому читателю, не знающему, что это — редуцированная форма названия русского города, а *I've just come down* не влечет за собой конкретной интерпретации 'спустилась с верхнего этажа', вызвавшей недоумение у Алеши [Catford, 1965, 96—98].

Порой при передаче каламбура переводчик сознательно идет по линии наименьшего сопротивления, не пытаясь воссоздать в переводе одновременную реализацию разных значений слова. Так, переводчик "Ярмарки тщеславия" перевел *A false note!* — восклицание Ребекки, прервавшей игру на рояле, чтобы бросить в камин записку от Родона Кроули, как *Фальшивая нота*. Вместе с тем в англий-

ском тексте сталкиваются два значения слова *note* — 'нота' и 'записка', и поэтому фраза одновременно означает и "фальшивая нота" и "лживая записка".

Наиболее удачные примеры передачи словесной игры свидетельствуют о том, что переводчик в этих случаях отказывается от невыполнимой задачи — найти семантический эквивалент данной языковой единицы, который к тому же обнаруживал бы ту же неоднозначность смысловой структуры, что и исходная единица. Вместо этого используется семантический сдвиг, который, естественно, сопряжен с известными смысловыми потерями. При этом переводчик как бы взвешивает эти потери для того, чтобы определить, окупают ли они передачу функциональной доминанты текста — коммуникативного эффекта словесной игры.

В своей книге Нора Галь приводит пример, раскрывающий логику переводческого решения в подобной ситуации. "Человек пришел посмотреть на торжественную и скорбную процессию — хоронят королеву.

*I'm late* —

И ему возражают: *Not you, sir. She is.*

У английского слова *late* — два значения. Герой спрашивает, имея в виду первое значение: *Я не опоздал?* и слышит в ответ второе значение: *Вы не покойник, сэр. Покойница* (или — скончалась) *она*.

Как быть?

Переводчику пришлось отказаться от игры буквальной, на двойном смысле именно этого слова, и обыграть нечто соседнее.

— Все кончено?

— Не для вас, сэр. Для нее.

Слово обыграно другое, а смысл и настроение сохранились, ничего не отнято у автора, не прогадал и читатель" [Галь, 1975, 148].

Здесь семантический сдвиг минимален: "Я опоздал?" заменяется контекстуально синонимичным "Все кончено". Стратегия поиска варианта сводится к нахождению ситуативного аналога, допускающего двойную интерпретацию.

Сходный пример применения подобной стратегии приводит переводчица "Алисы в стране чудес" Н. Демурова: "There is the tree in the middle", said the Rose. "What else is it good for?"

"And what could it do, if any danger came?" Alice asked.

"It could balk", said the Rose.

"It says 'Bough-wough'," cried the Daisy. "That's why its branches are called boughs."

Созвучие *bough* 'ветка' и *bough-wough* 'гав-гав' — это каприз английского языка, невоспроизводимый в переводе на русский язык. Описывая путь, которым она пришла к оптимальному решению, Н. Демурова отмечает, что сначала она перебрала все возможные соответствия и синонимы обоих значений (*ветка* и *лай*), включая и те, которые связаны с ними по линии родовых отношений, и наконец остановилась на названиях деревьев, дававших возможность каламбурного обыгрывания: вяз мог "вязать" обидчиков, граб мог сам "грабить", а дуб, который в конечном счете предпочла переводчица,

мог в случае необходимости "отдубасить" кого следует [Демурова, 1970, 174—176].

Когда речь идет о переводимости таких сложнейших видов речевой деятельности, как словесная игра, которые в идеале требуют совмещения несовместимого — одновременной передачи "и буквы, и духа" текста, в ряде случаев приходится прибегать к компенсации. Если невозможна передача каламбура или другой словесной игры в одном фрагменте текста, то она может оказаться возможной в другом. Здесь мы переходим от переводимости на уровне отдельного сегмента текста к переводимости на уровне текста в целом.

Пример такого рода компенсации приводят С. Влахов и С. Флорин, комментируя передачу в переводе той же Н. Демуровой "корневой игры" Л. Кэрролла. Этот основанный на паронимии прием переводчица вводит для компенсации своих "недоборов". В подлиннике Кэрролл исходит из качеств, присущих разным приправам, а переводчица предпочитает в духе его стиля играть на детской этимологии:

"— Когда я буду герцогиней, у меня в кухне вовсе не будет перца. Суп и без него вкусный. От перца начинают всем перечить..."

Алиса очень обрадовалась, что открыла новый закон.

— От уксуса — куксятся, — продолжала она задумчиво, — от горчицы — огорчаются, от лука — лукавят, от вина — винаются, а от сдобы — добреют. Как жалко, что никто об этом ничего не знает... Все было бы так просто! Ели бы сдобу и добрели!"

Из этого примера С. Влахов и С. Флорин делают совершенно справедливый вывод о том, что переводчик нередко переводит не тот оборот, который дается ему автором, а создает свою игру слов, "близкую, напоминающую по тем или иным показателям авторский каламбур, но свою, создаваемую иногда на совсем другой основе и... совсем другими средствами". В приведенном выше примере автор строит свой текст на ассоциативных связях и многозначности (уксус — кислый, кислое настроение — кислый характер), а переводчица — на звуковых и мнимозтимологических, и оба добиваются осуществления одной и той же цели [Влахов, Флорин, 1980, 300—301]. В таких случаях речь идет о переводимости на уровне частичной эквивалентности. Вместе с тем подобные переводы могут служить примером адекватности переводческого решения, которое может расцениваться как оптимальное в данной коммуникативной ситуации.

На грани переводимости находятся и так называемые говорящие имена, т.е. имена собственные с более или менее уловимой внутренней формой. С. Влахов и С. Флорин различают среди них такие, которые: «1) обычно не подлежат переводу, так как их назывная функция все же преобладает над коммуникативной (план выражения заслоняет план содержания), 2) подлежат переводу в зависимости от контекста, который может „высветлить“ их содержание, и 3) требуют такого перевода или такой подстановки, при которых можно было бы воспринять как назывное, так и семантическое значение (каламбуры)» [там же, 216].

Н. Галь приводит примеры остроумных переводческих решений из перевода на русский язык "Закона Паркинсона", где пародийный

"канцелярит" оттеняется именами и названиями "со значением", появляются мистеры Макцап, Столбинг и Дуралейн, епископ Неразберийский, нерешительный член парламента Уэверли (букв, 'колеблющийся') в переводе — мистер Ваш де Наш, казначей Макфэйл — Макпромах, мистер Вудворм ('древоточец') — мистер Сгрызли. Ср. также: доктор Маккоекак, трест "Тёк ойл, да вытек" (The Trickle and Dried Up Oil Corporation) [Галь, 1975, 145—146].

По мнению С. Влахова и С. Флорина, едва ли будет оправданным стремление во что бы то ни стало осмысливать "говорящие имена", коль скоро они не имеют подчеркнутой опоры в тексте. «Потери, конечно, будут: нередко веселое, смешное создает атмосферу, но перевод или подстановка могут оказаться большим из двух зол. Если есть основания для „перевода“ фамилии дьячка Вонмигласова („Хирургия“) — очень уж духовное у нее содержание, то его партнер, фельдшер Курятин, вероятно, сохранит свою в переводе, так как ни с профессией, ни с характером, ни с поведением его в рассказе она не связана» [Влахов, Флорин, 1980, 218]. Думается, что потери, на которые идет переводчик, отказываясь порой от перевода "говорящих имен", связаны со сложностью и противоречивостью решаемой им задачи. Транслитерация "говорящего имени" сопряжена со смысловыми потерями. Перевод же порой ведет к привнесению чуждого национального колорита. Так, например, неоправданно англизированными представляются фамилии гоголевских персонажей в переводе В. Набокова: Тяпкин-Ляпкин — Slap-Dash, Земляника — Strawberry.

Иными словами, передача металингвистической функции влечет за собой неизбежные потери. Принимая решение, переводчик должен определить те черты подлинника, которые соответствуют его функциональным доминантам и поэтому должны быть сохранены, и те, которыми можно пожертвовать.

Наконец, за гранью переводимого находятся порой те ассоциации словесных образов, которые играют важную роль в языке художественной литературы. В книге Дж. Кэтфорда приводится следующий перевод "Кошки" ("La Chatte") С. Коллетт: "The sun kindles a crackling of birds in the gardens." Странность, непредсказуемость словосочетаний в переводе хорошо передает необычность словосочетаний в оригинале: "Le soleil allume un crepitement d'oiseaux dans les jardins". Вместе с тем этот перевод, по мнению Дж. Кэтфорда, свидетельствует и о частичной непереводаемости. Ведь французское слово *crepitement* 'потрескивание' несет в себе определенные ассоциации, которые (возможно, неизбежно) теряются в английском переводе. Основной непереводаемой ассоциацией *crepitement* является то, что оно несколько напоминает *perieiment* 'чириканье'. Таким образом, семантические пространства *crepitement* и *perieiment* частично пересекаются [Catford, 1965, 102—103].

Наряду с языковой непереводаемостью Кэтфорд рассматривает в качестве особой категории "культурную непереводаемость". Речь идет о культурных реалиях, не имеющих точных соответствий в другой культуре. Лексические единицы, служащие для обозначения этих реалий относятся к категории "безэквивалентной лексики". Проб-

лема безэквивалентной лексики издавна привлекает к себе внимание [Шатков, 1952; Чернов, 1958; Супрун, 1958; Швейцер, 1973; Влахов, Флорин, 1980]. Примером такого рода лексики служит японское слово *юката*, означающее 'свободный халат с поясом', который носят мужчины и женщины, выдаваемый постояльцам японских гостиниц и предназначенный для дома и для улицы, а также используемый в качестве спальной принадлежности. В английском языке семантический диапазон этой лексической единицы частично покрывается словами *dressing-gown* 'халат, пеньюар', *bath robe* 'купальный халат', *house-coat* 'женский халат, капот', *pyjamas* 'пижама', *night-gown* 'ночная рубашка'. Обычно переводчики, используя транслитерацию, транспонируют эту единицу в английский текст, полагаясь на уточняющую функцию контекстуального окружения. В других случаях в качестве функционального аналога используется давно ассимилировавшееся в английском языке *kimono* 'кимоно', хотя в японском языке *юката* и *кимоно* соотносятся с разными референтами.

Дж. Кэтфорд приводит в качестве иллюстрации "относительной культурной непереводимости" следующее придуманное им предложение, которое могло бы быть переводом с японского языка на английский: *After his bath he enveloped his still-glowing body in the simple hotel bath-robe and went out to join his friends in the cafe down the street — После бани он накинул на еще горевшее тело простой гостиничный халат и вышел на улицу, чтобы посидеть с друзьями в кафе*. Здесь искажение коммуникативного эффекта происходит в силу того, что описываемая в тексте ситуация, привычная и нормативная с точки зрения японского получателя, производит странное впечатление на получателя, воспринимающего ее сквозь призму английской или русской культуры. "Культурный шок" вызывает и само сочетание *гостиничный халат* (в японском это устойчивое словосочетание *хотеру-но юката*), и указание на то, что этот халат носят на улице. В таких случаях коммуникация между отправителем исходного текста и иноязычным получателем может быть полноценной лишь при наличии соответствующего комментария переводчика [Catford, 1965, 100—102].

Принципиальная возможность перевода отнюдь не опровергается наличием отдельных трудностей, препятствующих межъязыковой коммуникации, неизбежностью отдельных потерь. Ведь переводимость имеет под собой прочную основу — общность логического строя мысли, общечеловеческий характер логических форм, наличие семантических универсалий, общность познавательных интересов. Идея абсолютной непереводимости связана с представлением о переводе как о чисто языковой операции. Вместе с тем семантические расхождения между языками, на которые обычно ссылаются сторонники теории непереводимости, преодолеваются в речи, на уровне которой совершается перевод, с помощью языкового и ситуативного контекстов.

Показательно и то, что наименьшее препятствие для переводимости возникает при передаче важнейших функций речи — таких, как референтная (денотативная) функция, непосредственно связанная с отражением в тексте внеязыковой действительности. С другой стороны, показательно и то, что наибольшие трудности возникают в связи с

передачей занимающих периферийное положение функциональных параметров текста (например, металингвистического). При этом неперебиваемые или труднопереводимые компоненты этих параметров нередко компенсируются с помощью других компонентов. Так, неперебиваемый локальный компонент диалектной речи частично компенсируется передачей ее социального компонента.

Поскольку именно контекст, снимающий неоднозначность языковой единицы, приходит на помощь переводчику при преодолении семантических расхождений между единицами и формами исходного языка и языка перевода, не случайно, что в наиболее "уязвимом" положении переводчик оказывается именно тогда, когда неоднозначность языковых единиц оказывается функционально релевантной чертой текста (например, при переводе каламбуров и других приемов словесной игры). Чаще всего при этом используются смысловые сдвиги, влекущие за собой известные семантические потери, но дающие возможность воспроизвести функциональную доминанту текста. Часто используется компенсация: каламбур или другой прием словесной игры переносится из одного фрагмента текста в другой, вместо каламбура используется другой стилистический прием, позволяющий создать сходный коммуникативный эффект.

Различные способы преодоления преград на пути к переводимости и различный характер этих преград сказываются на самой сущности понятия переводимости, на его отношении к эквивалентности и адекватности. Прежде всего из сказанного выше следует, что переводимость представляет собой не абсолютное, а относительное понятие. Следует различать, с одной стороны, переводимость на уровне того или иного сегмента текста, а с другой — переводимость на уровне текста в целом. Подобно тому как полная эквивалентность представляет собой известную идеализацию реальной переводческой практики, полная переводимость также является далеко не всегда достижимым идеалом. Частичные потери, жертвы, приносимые во имя главной коммуникативной цели, — все это заставляет прибегать к переводу на уровне частичной эквивалентности, но при обязательном условии адекватности переводческого решения. При этом следует, однако, иметь в виду, что принципиальная переводимость, допускающая известные потери, исходит из того, что эти потери касаются второстепенных, менее существенных элементов текста, и предполагает обязательное сохранение его главных, наиболее существенных элементов, его функциональных доминант. В этом заключается один из ведущих принципов стратегии перевода.